

Владимир Щербинин

СЕРДЦЕ СОКРУШЕННО



Владимир И. Щербинин

Сердце сокрушенно

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=54182659

Сердце сокрушенно. / Щербинин В.И.: Сретенский монастырь; Москва;

2016

ISBN 978-5-7533-1128-3

Аннотация

«Меня всегда волновал вопрос: что чувствовал Авраам, когда поднимался на гору, точно зная, что он никогда больше не услышит голос сына?...»

Эта книга – искренний рассказ человека о своей судьбе и о постижении истин вечной жизни на путях веры. Это рассказы и о спутниках на этом пути – подвижниках христианской веры Русской Православной Церкви второй половины XX века, сердца которых были исполнены духом любви Христовой, которые были рядом и в благополучии, и в дни горьких утрат. Эта книга об обретении человеком первоизданной природы через покаяние и через верность пути, предначертанному Творцом.

Содержание

Часть 1	6
Потерянный рай	8
Кто украл хомуты?	18
Голос иволги	22
Первый парень	27
Ангелы и демоны	29
Корни и ветви	33
Глаза матери	37
Умри-воскресни	40
Мытарства	45
Удары молота	48
Перевернутый мир	51
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Владимир Щербинин

Сердце сокрушенно

Светлой памяти моего сына Тихона

Допущено к распространению Издательским советом Русской Православной Церкви

ИС Р16-519-0909



© Щербинин В.И., 2016 © Сретенский монастырь, 2016



Часть 1

На том берегу



Было мне лет пять от роду, не больше. Друзья, что постарше, спросили очень серьезно:

«Хочешь пройти сквозь стену?»

«Конечно же, кто этого не хочет?»

Тогда мне, маленькому дураку, завязали глаза платком, вымазали лицо навозом (сказали, что это волшебная мазь), прошептали что-то на тарабарском языке, раскрутили как следует и сказали:

«Шагай вперед!»

Я поверил, шагнул, сильно ударился лбом о бревно, набил себе приличную шишку.

Наградой мне был всеобщий хохот, а еще наука на всю оставшуюся жизнь: никогда не пробуй пройти сквозь стену, особенно вслепую и по совету других.

Но я скоро забыл этот урок и до сего дня пытаюсь пробить стену одиночества, отчужденности, непонимания. Все мои попытки обычно заканчиваются так же, как в детстве, но я упрямо шагаю вперед и бьюсь головой в надежде, что бревно когда-то расступится, и я увижу наконец то, что по ту сторону.

Зачем?

Чтобы попытаться понять, начнем сначала...

Потерянный рай

Миг рождения я, конечно, не помню, зато ясно вижу высокий, выкрашенный голубоватой известью потолок, по которому переливаются теплым светом солнечные зайчики; и белые прозрачные занавески на окнах, летящие, словно крылья ангела.

Птицы где-то близко заливаются такими переливами, какие, наверное, бывают только в раю. А еще лают собаки, мычат коровы, гудят пчелы и шмели, тревожно трубят гуси, и оглашают окрестности своими воплями деревенские петухи.

Каждый звук запечатлевается ярко и выпукло, чтобы жить во мне всю оставшуюся жизнь.

Но это еще не все: за перегородкой у русской печи гремит чугунами и ухватом бабушка, что-то напевая себе под нос. Она печет хлеб, и запах от него разносится по всей деревне. Это – первый запах, который я помню...

Время от времени надо мной нависают огромные, как мне кажется, и безобразные лица взрослых людей. Взгляд мой обострен до крайности: я вижу каждый изъян на их коже – как через увеличительное стекло. Взрослые ведут себя весьма странно, они строят рожицы, улюлюкают, произносят какие-то глупости, сами же над ними смеются и пытаются своими прокуренными шершавыми пальцами прикоснуться к моему нежному и чувствительному носу.

Мне противно и страшно, я ору во всю свою младенческую мощь. Тогда меня берут на руки и трясут так, что весь мир начинает прыгать и рассыпаться на части, отчего я, наверное, не засыпаю, а теряю сознание.

Сколько мне было тогда: несколько дней или месяцев?

* * *

Из своего младенчества я не помню никого персонально: ни мать, ни отца, ни старшего брата, ни бабушку. Помню только себя, свои ощущения и переживания, которые почти всегда были неприятными и болезненными.

Казалось, будто меня вынули из теплого и уютного места и оставили там, где всегда холодная и сырая неприятность.

Эти чувства мало изменились с тех пор. Даже в самые яркие минуты радости и счастья меня никогда не покидает чувство тревоги и тоски, рвущей сердце на части.

Я почему-то всегда знал и знаю, что все хорошее в этой жизни непрочно и скоротечно, что за светлыми вспышками обязательно наступают бесконечные черные дни. Я и теперь убежден, что жизнь – не подарок, а наказание за что-то, чего я не в силах узнать; а земля – это как наша Сибирь, куда ссылали каторжников, – красиво, но холодно и зверски тяжело.

И сколько ни заливай тоску вином, сколько ни удобряй свое житие разными удовольствиями, – похмелье наступает

неизбежно, расплата – неминуема...

* * *

А еще я помню свой первый полет или, точнее сказать, первое падение.

Наверное, уже прошло довольно много времени с моего появления на земле. Я слегка подрос и мог свободно стоять в своей кроватке. Кроватка была сварена из железных прутьев и поставлена на полукруглые дуги, чтобы при моем ночном пробуждении мама могла укачивать меня прямо с постели.

Я беззаботно раскачивался в своей качалке, крепко держась за ее железные края. Мне было легко и весело, потому что маленькое сердце еще не познало житейской тяжести, а ум был совершенно чист от мрачных мыслей.

Разноцветный ковер, лежавший на полу, то приближался ко мне, то удалялся, пока вдруг стремительно не бросился навстречу...

Говорят, я тогда сильно ударился головой, так что моя бабка Иустина впоследствии всегда утверждала:

«Ты странный, потому что головой стукнутый».

Может быть, в этом все и дело?..



Я вышел из дома, протопал через двор и смело направился на отцовскую пасеку. Это было для меня первым большим путешествием, потому как я только что выучился ходить.

Наш маленький дом еще казался мне высоченным замком, узкий дворик, по которому важно расхаживали куры и гуси, – целой сказочной страной, а сама пасека – непроходимыми джунглями, где торжественно устремлялись вверх гигантские заросли малины и смородины. Мир был ласковым, теплым, добрым и, конечно, одушевленным. От переполнявшей меня радости я что-то распевал во весь голос.

До первой пчелы.

Мне, конечно, страшно захотелось поймать это маленькое жужжащее и летающее существо. Я схватил одну пчелу и тут же огласил всю округу своим нечеловеческим воплем.

Я стоял среди ульев и размахивал от страха руками. Злобные насекомые атаковали меня яростно и безжалостно и, наверное, зажалили бы до смерти, поскольку у меня не хватало еще разума убежать.

Меня спас двоюродный брат отца, который в то лето помогал пристраивать к дому крыльцо. Через пару десятков лет он, напившись до потери памяти, замерзнет где-то неподалеку от этого места.

А тогда он стал моим спасителем, и я до сих пор благода-

рен ему...

* * *

Еще я помню, как полетел Гагарин.

Мне было чуть больше года. Напротив нашей деревни, по тому берегу реки, тогда тянули железную дорогу. Вокруг были горы и скалы, так что колею приходилось пробивать довольно сильными направленными взрывами. Чтобы не выбило шальным осколком оконные стекла или, еще хуже, не пришибло бы случайно кого-нибудь, – накануне взрывных работ в домах наглухо закрывались ставни, и всех жителей нашей деревни вывозили подальше в безопасное место. Сначала объявляли готовность по местному радио. Потом приезжал старый грузовик с дощатым кузовом и увозил нас в место, называемое заветерьем¹, куда камни долететь точно не могли.

Самого взрыва я не боялся, поскольку почти не слышал его. Но вся подготовка к нему, эвакуация, ожидание отчего-то вызывали во мне панический страх.

Что было тогда в моей маленькой голове?

В тот день, когда Левитан угрожающим своим баритоном возгласил: «Внимание, внимание!..» – я подумал, что будет очередной взрыв. Как обычно схватил свое пальтишко, стал

¹ Защищенное от ветра место.

требовать от родителей, чтобы меня поскорее переодели, для того чтобы ехать в укрытие. Но взрослые отчего-то меня игнорировали; они неотрывно и напряженно слушали голос диктора. Я заревел во весь голос от обиды и страха, а все, кто находились в комнате, вдруг закричали громко и радостно, бросились обниматься и целоваться. Я ничего не понимал и плакал еще горше, но утешить меня было некому. Во всей вселенной в этот час никому не было дела до маленького человечка, плачущего на полу в глухой сибирской деревне, потому что мир сошел с ума от счастья. Человек вывалился из ограниченной земной утробы и, казалось, родился в бесконечность.

Но так ли это?..

* * *

Я точно знаю: ничего нельзя изобразить одной краской. Для того чтобы сделать рисунок, к черной туши необходим хотя бы чистый лист или белая стена.

Не все было черным и в картине моей маленькой жизни. Белым листом и одновременно многоцветной палитрой для меня была, конечно, окружавшая нас природа.

Я появился на свет в красивейшем месте у подножия Саянских гор, на берегу стремительной и хрустально-чистой реки. Она берет свое начало от ледников загадочной страны Тофаларии, потом пробивается сквозь горы до Курагинской

долины, где, слившись с двумя другими речками, впадает в Енисей.

Конечно, в детстве всей этой географии я не знал. Широко раскрытыми глазами я смотрел на серебристую поверхность воды на перекате, где по вечерам плескался хариус, на багровые закаты, от которых вода становилась похожей на малиновый сок или кровь; на высокие деревья, которые, как мне казалось, подпирали купол неба, не давая ему упасть на нас.

Весной наши косогоры окрашивались ярко-оранжевым цветом от изобилия жарков, по берегам, словно взбитая пена, буйно цвели черемуха и таволга.

Осенью горы на том берегу напоминали лоскутное одеяло. Желтые лоскутки березовых рощ чередовались с черемуховым багрянцем и киноварью осинников; все это обрамлялось темно-зеленой прорисью пихт и ельников, над которыми горделиво возносились шатры столетних кедров.

Зимой все это богатство покрывалось двухметровым слоем снега, так что деревья напоминали белые сталагмиты, обращенные к небу, а дома были похожи на пирамиды-сугробы, из печных труб которых поднимались абсолютно прямые столбы дыма.

В нашей деревне до середины семидесятых годов прошлого века не было электричества, поэтому мы преспокойно обходились керосиновыми лампами.

Короче говоря, жили мы в каком-то глухом медвежьем углу, где сохранились нетронутыми древние обычаи и преда-

ния, да и сам уклад жизни не менялся, наверное, целую тысячу лет.

* * *

В этом затерянном таежном мире все время происходили разные чудеса и необыкновенные явления. Во всяком случае, в моей маленькой жизни.

Не знаю, возникало ли это только в моем детском воображении, происходило ли на самом деле или было отзвуком бабкиных ежевечерних сказок, которые она рассказывала нам при тусклом свете керосиновой лампы, под треск горящих поленьев в печи, под усыпляющее жужжание своего веретена.

Однажды осенью я отправился в путешествие за огороды, чтобы полакомиться плодами боярки, которая после первых заморозков становится удивительно сладкой. На одной из веток среди мелких красных ягод я вдруг обнаружил довольно крупное золотистое яблоко.

Откуда?..

Нужно заметить, что никакие фруктовые деревья в наших местах никогда не росли, поскольку мы жили довольно высоко в горах и морозы зимой здесь достигали шестидесяти градусов. Все яблони или сливы просто-напросто вымерзли. Магазина, где можно было купить свежих фруктов, в деревне не было; мы их видели только на Новый год или на

другие большие праздники.

Правда, каждую осень из райцентра приезжала старая полуторка, заполненная до краев мелкой ранеткой, которую водитель раздавал местным жителям совершенно бесплатно.

Это было какое-то чудо!

Мы с братом, затаив дыхание, держали эти райские, душистые плоды в ладонях, боясь надкусить и тем разрушить их хрупкую красоту...

* * *

А здесь – целое яблоко, да еще и на ветке!

Я огляделся вокруг, думая, что его кто-то подвесил, как в Новый год на елку, потом попробовал сорвать. Яблоко держалось крепко, словно росло здесь веки вечные, и поддалось далеко не сразу.

А какой у него был вкус и аромат! С тех пор прошло более пяти десятков лет, но я до сих пор ясно помню то абсолютное ощущение блаженства, которое тогда испытал, вкушая этот удивительный неземной плод.

* * *

В другой раз, летом, когда я сидел на косогоре среди ромашек и ловил мелких голубых мотыльков, прямо передо

мной откуда-то сверху упало бесцветное студенистое вещество. Оно было очень похоже на большой кусок мармелада. Младенцам свойственно тянуть все в рот и проверять на вкус, что я тотчас и сделал. Вещество не имело никакого вкуса, но при этом было весьма приятно, и я, конечно, съел его.

Что это было? Моя фантазия, или манна небесная, или еще что? – до сих пор не могу ответить на этот вопрос, хотя отчетливо все помню. Так же отчетливо, как того ужасного крылатого змея, которого я как-то увидел среди туч во время грозы...

Кто украл хомуты?

Меня всегда, сколько себя помню, мучил этот вопрос: почему люди, живущие среди великолепной природы, избавленные от суеты и смрада больших городов и прочих сомнительных достижений нашей великой цивилизации, не видят окружающей их красоты? Они не слышат и не понимают ни восторженного хора птиц на утренней заре, ни шепота воды на перекате. Они не радуются первому снегу, прикрывшему золото берез и яшму елей, ни ранней грозы, которая всполохами озаряет все – и горы, и реку, и небо. Они заливают свою внутреннюю пустоту какой-то гадостью, лезут в петлю, нажимают на курок, чтобы снести себе полголовы или разорвать свинцом свое сердце.

* * *

Человек рождается совершенно чистым полотном, но если присмотреться пристально, то на белой поверхности холста можно обнаружить темные пятна: это и первородный грех, и дурная наследственность, и какие-то другие душевные изъяны и болезни. Человек растет, впитывая в себя из окружающей жизни не только чистое и светлое, но и много мутных, ядовитых вод. И никто не научит его, как бороться с тоской и отчаянием, как избавиться от низменных, разру-

шающих помыслов и страстей. Душа грубеет, чернеет, сжимается, а мир вокруг все так же прекрасен, как и во дни первоначальные. Все так же иволга завораживает своим неземным голосом, все так же звенит, пробиваясь сквозь камни, ручей; а эхо отражается от стены деревьев на острове и долго-долго не затихает, заблудившись где-то среди скал и гор.

* * *

Мы, малые дети, каждый вечер бежали на берег реки и кричали, сколько было мочи:

«Кто украл хомуты?!» – на что эхо всегда отвечало:

«Ты... ты... ты...»

Мы верили, что так с нами разговаривает сама тайга, и никто не мог сокрушить нашу наивную веру. Ведь у детей смерти нет, у них все живо – и люди, и звери, и травы, и камни...

* * *

Я всегда понимал, что живу в невообразимой красоте, но при этом всегда чувствовал, что внутри меня есть нечто ужасное и темное, что часто сдавливает мою маленькую грудь, заставляет плакать беспричинно и безутешно. Иногда я не мог успокоиться целыми днями, на что бабка моя гово-

рила:

«Он странный, головой стукнутый...»

Мать добавляла:

«Избалованный. Ремня бы ему...»

И только отец, молчаливый столяр, брал меня за руку и уводил в свою тесную мастерскую. Здесь резко пахло горячим костяным клеем и свежей древесиной. Я залезал под верстак и слушал, как поет над моей головой отцовский рубанок; смотрел, как падают, кружась, на пол золотистые кольца стружек. А потом сидел у крохотной печки и наблюдал, как большие отцовские руки собирают из реек стул или табурет.

И тоска улетучивалась куда-то...

* * *

Вот забавы моего детства: зимой прыгнуть с конька крыши, сделав сальто с переворотом, и не свернуть себе шею. Летом с той же крыши совершить прыжок с большим китайским отцовским зонтом и не приземлиться на кол забора. Поздней осенью перебежать озерцо по прозрачному тончайшему льду, когда он за тобой крошится словно стекло, и не провалиться при этом.

Мы ломали руки и ноги, проваливались под лед, получали большие рваные раны, но оставались живы.

Взрослые по своей отчаянной легкомысленности не силь-

но отставали от нас.

Например, весной, во время ледохода на реке, обязательно находился смельчак, который по движущимся льдинам перебегал не узкую нашу и очень своенравную реку. Он проваливался в воду под лед, надолго исчезал под шугой, потом выныривал, выкарабкивался наверх, снова бежал. Зеваки, собравшиеся на берегу, ахали, охали, хватались от ужаса за сердца, а потом, когда он благополучно возвращался на свой берег, наливали ему рюмочку-другую, приговаривая при этом:

«Ну и дурак ты, Саня!»

Саня неделю после этого пил как змей (благо, ледоход почти всегда случался на майские праздники), а потом выползал на свою завалинку синий, небритый, едва живой. Он, наверное, и сам уже не помнил о своем «подвиге», а уж тем более не мог никому внятно объяснить: какой бес его дернул?

Голос иволги

У человеческой памяти есть одно странное свойство: иногда то, что случилось много лет назад, живее, ярче и реальнее того, что произошло только вчера.

Я очень отчетливо вижу родительский дом – маленький, теплый, со скрипящими половицами, с русской печкой, которая занимала большую его часть.

Ранней весной, когда на улице еще во всю трещали морозы, у нас начинали рождаться телята, ягнята и прочая живность. Первые дни, чтобы не замерзнуть, они проводили в доме вместе с нами. Если еще добавить сюда желтых пушистых гусят, которые вылуплялись из яиц примерно в то же самое время, глупого щенка и пару котят, то можно понять – это был не дом, а маленький Ноев ковчег. Я до сих пор помню мягкий каракуль на лбу ягненка, с которым мы бодались, когда я еще ползал. Из моей памяти стерлись многие более значительные события, а вот этот каракуль остался навсегда...

Почему?..

* * *

Я вспоминаю свои зимние пробуждения, когда нужно идти в школу. Еще темно, а бабка Иустина уже орудует кочер-

гой и ухватом возле огненного жерла русской печи. Она отрывает пару кусков теста из квашни, бросает их на раскаленную сковородку, и через несколько минут готовы две чудесные душистые лепешки. Это то, что нам нужно взять в школу на целый день. Она заворачивает лепешки в чистое полотенце. Мы с братом прячем их за пазуху, чтобы подольше сохранить тепло, но едва выходим за околицу, как достаем их и быстро съедаем, словно какой-то небесный хлеб, и остаток дня проводим впроголодь...

* * *

Теперь тот мир разрушен, он жив только в моей памяти, и то отрывками, осколками.

Горы, конечно, остались на месте, хотя изрядно изъедены новыми карьерами, в которых усердно копают железо. Все так же течет река, пусть обмелела и многократно изменила свое русло. Сохранился даже наш первый дом, правда, без крыши и с пустыми глазницами окон. На месте двора и пасеки вымахала крапива в два человеческих роста, а на опорах крыльца пока еще можно различить наши корявые надписи, которые мы с братом выцарапывали гвоздем.

* * *

Иногда я не понимаю, зачем пытаюсь воскресить в себе то, что давно исчезло, стараюсь вдохнуть тепло и огонь в бледные и высохшие тени прошедших дней? Захожу в таежную чащу, где на дне оврага, пульсируя, бьет холодный сладкий родник. Залезаю на самую верхушку кедра, чтобы заорать от восторга при виде открывшейся красоты. Разжигаю костер на речной косе, чтобы потом, когда солнце опрокинется за горный хребет, закинуть удочку и с замиранием сердца ждать, когда клюнет хариус...

Оглядываясь назад, я, конечно, стараюсь найти себя сейчас. Из прошлого черпаю пригоршнями живой воды, чтобы восстановить свое изрядно омертвевшее сегодняшнее существо.

* * *

А пока все мои главные беды впереди, сегодня – одни только радости и открытия.

Мы с братом, насытившись горячей лепешкой, идем через поскотину² в школу. Школа находится в двух верстах, в соседней деревне. Скрипит приятно под валенками снег, мороз

² Изгородь.

обжигает нос и щеки. Справа и слева от дороги резво шныряют зайцы, на ветках пихты раздули свои румяные зобы снегири, а над верхушками елей устроили потешные бои черные саянские вороны. Солнце еще не взошло, поэтому снег темно-синий, местами чернильный, но едва первые лучи выглянут из-за гор, упадут на верхушки кедров, как мир мгновенно преобразится, засверкает множеством ослепительных искр, заиграет в своем многоцветии.

Вот послышался позади топот копыт и строптивое фырканье. Это – наша попутка. Конюх Власыч на мгновение притормаживает, и мы успеваем упасть в мягкое соломенное дно саней.

Посторонись!...

Снег из-под копыт лошади заваливает нас с головой, и мы вылезаем из нашего «возила», стряхивая с себя целые сугробы.

Школа наша маленькая, обычный крестовый дом, разделенный на две половинки. В одной части – медпункт и аптека, в другой – собственно школа – небольшая комната на четыре класса, в которых учится всего двенадцать человек.

Учитель один на всех – Антон Акакиевич, человек по-своему добрый. Он, конечно, может заставить кого-то съесть папиросу, если застанет курящим; может устроить разнос родителям, если заметит у кого-то на груди нательный крест. Он – убежденный атеист из старообрядцев. Он искренне верит, что к 80-му году в нашей стране будет окончательно и

бесповоротно построен коммунизм, что по телевидению покажут последнего попа, что все будет доступно и бесплатно.

Мы, мелкие шалопаи, широко разинув рот, слушаем эти бредни, представляем себе конфетно-газированный рай с шоколадно-мармеладными горами и глотаем слюни.

Антон Акакиевич по профессии агроном, стал учителем поневоле, потому что в нашем среднегорье не растут никакие злаки, кроме овса и ячменя, пахотных земель тоже нет, один таежный бурелом, и, стало быть, агрономия здесь наука почти бесполезная. Он немного тяготится своим учительством, а потому, едва наступает весна, ведет нас на берег реки или в горы, в тайгу. На время он забывает о чтении и чиstopисании и вдохновенно учит нас свистеть иволгой, куковать кукушкой или подзывать бурундука. Он подробно поведствует о каждом дереве, о каждом цветке, о всяких пестиках и тычинках, о стеблях и корешках.

Теперь-то я понимаю – он пытался раскрыть перед нами книгу окружающей природы, хотел, чтобы мы немного постигли ее язык, давно утраченный и забытый.

И я уже сто лет не помню каких-то правил грамматики или математических формул. А вот посвистеть иволгой, прокуковать кукушкой или подозвать свистом бурундука до сих пор умею...

Зачем?..

Первый парень

Я ненавижу житейские праздники с их пустыми хлопотами, со смрадом подгоревшего мяса и лука, с каким-то животным возбуждением гостей и предвкушением большой жратвы. Я не люблю бессмысленных тостов, звона стекла, звука поглощаемой водки с последующим корябаньем вилок по тарелке. Не выношу взрывов хохота, бессвязных разговоров, которые постепенно перерастают в бестолковый ор, когда каждый судачит о своем, не слушая другого. Все это обычно заканчивается отчаянно-бесовскими плясками с приправой из дружеских разборок и легкой дракой до первого подбитого глаза.

Может быть, эта нелюбовь тоже родом из детства.

Мне было пять лет, когда я сам научился играть на маленькой гармошке, отчего невольно стал первым парнем на деревне, поскольку других музыкантов в округе не было. На любой праздник взрослые всегда тащили меня в центр круга, велели играть что-нибудь повеселее, а потом тыкали желтыми от самосада пальцами прямо в лицо, дышали перегаром и заплетающимися языками хвалили:

«Молодец! Сыграй еще!...»

Я любил музыку, мог целыми днями извлекать из своего инструмента незамысловатые мелодии, которые слышал по радио. Они уносили меня в какой-то другой, возвышенный

мир, где обитает красота и нет грубости, пошлости, злости.

Но праздничные «концерты» доводили меня до исступления. Задолго до них к горлу подступала нечеловеческая тоска. Тогда я ненавидел гармонию, слышать не мог ее звуки. А еще меня коробило то, что приходилось находиться в центре внимания и получать от пьяной публики дешевые комплименты.

Я и теперь не люблю похвалы. Ведь птица не требует аплодисментов, заливаясь на утренней заре; и таежной лилии не нужен подиум, чтобы показать окружающим деревьям свои наряды. Настоящая, естественная красота целомудренна, застенчива, скрытна, тиха. Все, что ярко и пестро в природе, — хищно и ядовито. Цивилизация выбирает агрессию и яд, от которого она рано или поздно захлебнется и погибнет...

Ангелы и демоны

Церкви в наших местах никогда не было, не успели построить. Весь наш род перебрался сюда только перед революцией 1917 года. Но старики старались хранить свою веру, правда, изрядно приправленную суеверием и язычеством.

Я всегда знал, что есть Бог и ангелы, но существуют также лешие, домовые, упыри, которые стараются делать людям всякие пакости – сбивают охотника или грибника с пути в тайге, нагоняют на людей и скотину страх и порчу, сеют срамные мысли в голове и тому подобное. Эти знания мне внушила моя бабушка.

В углу нашей горницы висели бумажные образки Спаса, Николая Угодника и еще почему-то большая фотография Гагарина. Причем Гагарина я считал среди этой троицы главным, ведь у него на орденской ленте было множество всяких звезд, медалей и крестов. Старичок Никола был мне симпатичен, хотя у него было всего два креста на плечах. Ну а Спаситель – слишком прост, без всяких регалий...

На Рождество мы всегда колядовали: выворачивали тулупы мехом наружу, лица мазали сажей, надували мочевой пузырь свиньи или быка, набивали его горохом, высушивали, так что получался дивный бубен, который звучал в тихой зимней ночи, словно выстрелы картечью. Если добавить к этому медные тазы, в которые мы бренчали, разные свирь-

стелки, деревянные ложки, баклуши, то получался неплохой шаманский оркестр, который, правда, мало соответствовал светлому празднику.

На Крещение многие деревенские жители, изрядно выпив водки, лезли купаться в прорубь. А поскольку морозы в январе достигали иногда ниже сорока градусов, это было немалым подвигом.

На Пасху, естественно, пекли куличи, красили яйца, которые потом катали с горки, загадывая свои заветные желания. Чего они желали?..

* * *

Большая же часть населения отличалась примитивным безбожием, впрочем, как и у старообрядцев, которые жили в соседней деревне вверх по течению.

Староверы поселились здесь значительно раньше нас, еще во времена Петра Первого, и за время, истекшее с тех пор, они совершенно утратили смысл своей веры. У них осталась только твердая убежденность в том, что во всех бедах, которые случались раньше и до сего дня случаются на нашей планете, виноваты мы, никониане, а посему с нами негоже есть и пить из одной посуды.

Были среди них дырники, ставившие дома углом на восток. Они сверлили в углу дырку и поклонялись свету, который проникал через нее. Были хмелевцы, русская разновид-

ность дионисийцев. Они пили хмельные напитки и искренне почитали хмель за священное растение. Немногим отличались от них и тополеводы, которые называли тополь священным деревом только лишь потому, что он в свое время роняет «святость», то есть мерзкий свой пух, от которого летом так страдают астматики.

Были у нас, конечно, настоящие подвижники. Очень смутно, но все же помню монахиню Ольгу. Она прожила с мужем после свадьбы всего один день, 22 июня 1941 года. 23-го его забрали, и вскоре он погиб. Ольга (не знаю ее мирского имени) приняла монашество от ссыльного епископа, чтобы навсегда остаться верной своему возлюбленному. Ее выселили из наших мест во времена хрущевских гонений за то, что она, из-за отсутствия священника, дерзала крестить младенцев.

Был еще брат моей бабушки, инок Николай, или как все его звали, Коля-богомол. Он принял постриг во время войны. Случилось так, что прадед мой, Степан, который в Первую мировую был в немецком плену вместе с Тухачевским, в 1937 году был посажен в лагерь как раз за связь с опальным маршалом (хотя такой связи, конечно, не было). А его старший сын Денис пропал без вести вскоре после начала войны. Все четыре года от них не было ни слуху ни духу. Родным оставалось только молиться и надеяться на чудо.

И вот прабабка Александра, женщина суровая, с твердым характером, всех оставшихся детей и родственников каждую

ночь заставляла становиться на молитву. И это после 18-часового рабочего дня.

Ее сын Николай был посвящен в рясофор кем-то из ссыльных священномонахов для того, чтобы совершать «сугубую молитву» о пропавших без вести.

Я не знаю, его ли молитвы помогли или стечение обстоятельств, но и прадед Степан, и дядя Денис каждый в свой срок возвратились домой.

Дядя Денис прошел 17 немецких концлагерей плюс сталинский фильтрационный, а дед Степан, в придачу к Первой мировой и гражданской, успел повоевать еще в штрафных батальонах во время финской и отечественной. Правда, по возрасту (ему было далеко за 50) служил не на передовой, а конюхом в тылу где-то в Карелии.

Корни и ветви

Всякому дереву свой срок. Семя, брошенное в землю, не всегда прорастает. Иногда ему не хватает влаги, иногда солнца; или мороз убивает новорожденный росток, или железная пила нелепого случая безжалостно срезает зеленый и слабый еще побег. Но если победило оно все невзгоды природы и времени, широко раскинуло свои разлапистые ветви, – это еще не победа. Впереди дерево ждет трухлявая старость, пожухшие листья или иголки, полное бесплодие и, наконец, последнее крушение, когда с противным треском, ломая ветви молодых собратьев, упадет оно, глухо ударившись о землю, и через какое-то время само превратится в труху.

* * *

Такая судьба уготована не только деревьям, но всему сущему на нашей планете. Человек, народ, цивилизация – все разрушится. И сколько бы ни мнили себя итальянцы наследниками великой империи, они имеют очень слабое отношение к славным римлянам, как греки – к эллинам, а мы, велико-мало-белороссы, – к храбрым витязям Древней Руси. Мы – всего лишь чахлые отростки, прозябшие на величественных развалинах. Мы прожигаем то, что получили в наследство от своих достойных предшественников.



Когда я оглядываюсь на жизнь своих предков, я тоже чувствую себя высохшей верхушкой некогда крепкого и славного рода.

Мой прапрадед Михаил гвозди кулаком в дерево вбивал, а зубами выдергивал. Когда возвращался с японской войны, заехал в гости к сослуживцу в Енисейскую губернию. Его так поразило обилие свободной земли, леса, зверья и рыбы в Сибири, что он, вернувшись домой в Предуралье, убедил не только свою семью, а весь свой род перебраться подальше на восток.

Два года они добирались до Саянских хребтов, потом еще десять лет корчевали лес, строили дома, устраивали быт.

Он был для нашего рода Моисеем, недрогнувшей рукой изведшим всех из нужды и безземелья. И когда на охоте в руках его разорвался винчестер, разворотив полголовы, он, истекая кровью, две версты полз по снегу, чтобы дать последнее благословение детям и попрощаться с ними.

Сын его, Степан, о котором я говорил выше, четыре войны прошел. Да и бабка моя Иустина Степановна, не умея писать и читать, была великолепной рассказчицей и сказочницей. И если я имею некий дар слова, то это от нее.

* * *

Я стараюсь бережно хранить свой мир, который оставили мне мои предки. Пока я жив, моя маленькая отчизна шумит верхушками кедров, звенит ключевой водой, отзывается смехом и голосами давно ушедших людей. Я верю: каждое доброе слово, прозвучавшее однажды, уходит в вечность и не затихает никогда. Оно возвращается эхом через тысячу лет, чтобы спасти погибающего от жары и отчаяния странника в пустыне.

Гнилое слово откликается тоже; оно ядовитым смерчем сметает с лица земли целые города, опустошая до дна человеческие души.

Всякое семя прорастает: беда рождает беду, святость умножает святость, а из малого ростка любви вырастет великое дерево, от плодов которого питаются многие поколения.

* * *

Я люблю свой мир, я знаю в нем каждое дерево, каждую тропинку. Я знаю, где быстрее всего вызревает горько-сладкая жимолость, в каком месте лучше собирать кедровые шишки; на каком из перекатов и в какой час клюет хариус, под какой пихтой прячутся рыжики или грузди. И не

важно, что река давно изменила свое русло, что места ягодные покрылись хвощом и бузиной, что почти все деревья в округе уже спилены лесорубами. В моей памяти остается все так, как было.

Я обязательно возьму это с собой.

Глаза матери

Я боюсь смотреть в глаза моей матери. Они черны от боли и всех несчастий, которые она пережила в этом лучшем из миров.

Случайный плод короткого романа, она с первых дней вкусила горечь безотцовства, а шести лет от роду лишилась и матери, которая, поранив на поле ногу и не перевязав рану, через три дня умерла от заражения крови.

Шла война, и лишний рот никому не был нужен. Неродная бабка наотрез отказалась принимать ее в свой дом, так что ей два месяца пришлось жить в полном одиночестве. Приходила из другого мира мать, говорила, где спрятала просо, учила, как растопить печь и сварить кашу.

Не знаю, выжила ли бы она, – не загляни однажды вечером на свет лучины соседка. По тому, что говорила девочка, соседка поняла, что та общается с покойницей. Схватила, унесла ее к себе, а на следующий день пошла к бабке и деду и пригрозила судом, если не заберут чадо к себе. Что делать, они взяли – время-то было суровое.

Ее несколько раз сдавали в детдом, но она оттуда сбегала и верст шестьдесят шагала пешком по тайге, чтобы только вернуться в свой дом.

Ее отправляли в Ленинград к родному дяде, который, впрочем, оказался жуликом и едва не продал ее, отроковицу,

в жены какому-то шулеру.

Она умирала от тифа, но все же выкарабкалась, выжила, чтобы родить нас, четверых детей.

* * *

Я слабо помню ее в детстве. Они с отцом работали в геологоразведочной партии, поэтому являлись из тайги домой чрезвычайно редко. Приносили нам с братом слипшиеся конфеты-подушечки, перемешанные с еловой хвоей, да зачерствевший кусок таежного хлеба. Подарок от лисы и зайца...

Мы, дети, готовили ей другие «подарки».

Сначала заболела воспалением легких маленькая сестра, болела два года, едва осталась жива.

Как только она пошла на поправку, очутился в больнице я. Пролежал семь месяцев на спине, пережил клиническую смерть и вышел покалеченным на всю оставшуюся жизнь.

Но это были только цветочки.

Я не понимаю, как можно пережить такое: как можно матери вынимать из петли собственного сына, моего брата, и как можно нести на руках окровавленного внука, моего сына? Как можно не сойти с ума после этого и не ослепнуть с горя?

Я знаю, как она казнит себя сейчас, бесконечными зимними вечерами, сидя у кровати безнадежно больного мужа.

Корит себя за то, что не уберегла сына и внука. Я хочу ей сказать, что казнить себя не стоит. Наша жизнь здесь – одни слезы и страдания, но есть другая жизнь, нескончаемая. Там невозможно никого потерять, там нет печали и воздыхания, там тихий ровный свет, там все молоды и живы.

Умри-воскресни

Как хорошо, что мы не знаем завтрашнего дня! Сегодня можно спокойно сидеть на таежной поляне, слушать музыку леса, или долго бежать на лыжах, наслаждаясь скоростью, или до усталости мчаться по дороге на велосипеде, так чтобы ветер свистел в ушах, не подозревая еще, что скоро всего этого не будет.

Я рос абсолютно здоровым ребенком, не знавшим никаких болезней. Чистый горный воздух, прозрачная родниковая вода, свежее молоко и хлеб, испеченный в русской печи, – все это питало мои мышцы и кости, обещая здоровое и беззаботное будущее.

Детские неприятности и приступы тоски кажутся мне теперь мелкими темными пятнышками на сверкающем диске жизни.

Я все время возвращаюсь туда, где шелковятся под солнцем травы, басовито гудят шмели, им тоненько вторят мелкие земляные пчелы; где косогоры румянятся от обилия земляники, а в небе повисли и звенят десятки голосистых жаворонков...

Я уйду в луга далеко от дома, чтобы просто поваляться в мягкой траве, глядя на белые овчины облаков, а потом побежать вниз, к реке, и нырнуть в прохладную воду прямо с разбега...



Все началось в то лето, когда в наших краях не стало хлеба. Страна, конечно, уверенной поступью шагала от победы к победе, но нам, живущим в саянской глуши, приходилось с раннего утра занимать очередь за хлебом, чтобы потом, когда его привезут, приступом брать прилавков магазина.

Во время одного из таких приступов меня крепко прижали к стене. Ничего страшного не случилось, только после этого слегка стало побаливать бедро. Нас, рожденных и воспитанных в сибирской среде, учили презирать слезы и боль, поэтому я по-прежнему много двигался, правда, едва заметно хромал.

Ничего, скоро пройдет...

Но к осени боль стала невыносимой. Каждый шаг как удар электрического тока.

«Просто сильный ушиб», – сказал старичок-доктор в районной поликлинике, подслеповато вглядываясь в мутный рентгеновский снимок, но на всякий случай дал направление в краевую больницу.

Там мне поставили совсем другой, неутешительный диагноз и тем самым переписали всю мою дальнейшую судьбу...



Я изо всех сил пытаюсь открыть глаза, но они не открываются. Словно на веки положили тяжелые медные пятаки. Я хочу позвать кого-нибудь, но не могу подать голос. Откуда-то издалека, будто с другой планеты, доносятся обрывки разговора:

«Кажется, он шевелится... оживает... Поставь ему еще капельницу... Как пульс?..»

Я хочу связать эти фразы в нечто вразумительное, но это не удастся. Я стараюсь вспомнить все, но память моя чиста, как белый лист бумаги.

Где я? Что со мной? Кто эти люди? Почему я не могу пошевелиться? – вопросы срываются, словно капли с потолка, и гулко, безответно падают на извивы моего мозга.

Наконец в сознании появляется узкая щель, через которую просачивается слабый свет воспоминаний.

Я в больнице. Вспоминаю: белые стены, белые халаты, белые кровати. Пространство, лишённое цвета.

Едкий запах лекарств, припадок эпилептика в ночи, стоны соседей.

Скользкое и холодное, словно тело змеи, чувство страха. Длинные лабиринты до операционной. Главное, не заплакать, не дать слабинки – ведь сибиряк никогда не плачет, даже если ему всего дюжина лет!

Меня раздели, положили на рыжую клеенчатую поверхность каталки.

Последнее, что помню: пьяненький доктор по фамилии то ли Хайдар, то ли Хайдаров, от которого на две сажени разит свежавыпитым спиртом. Он смеется довольно зловеще, натягивает на руки резиновые перчатки. Сестра в белом наморднике перетягивает мне руку резиновым жгутом, вставляет иглу в вену.

Я хотел еще что-то спросить, но в голове звякнуло и все погасло.

* * *

Теперь понятно: я прихожу в себя после наркоза. Но сколько времени прошло – час, два?

Это уже потом я узнаю, что операция длилась незапланированных девять часов. Врачи ошиблись с диагнозом, поэтому пришлось еще пару раз добавлять наркоз, чтобы успеть отпилить кость, выкинуть ее, вставить искусственную.

В час девятый мое сердце остановилось. Бедро мне быстренько зашили, ударили как следует электрическим током. Сердце затрепыхалось вновь, но еще три недели душа моя странствовала где-то между жизнью и смертью. Где она была, что она видела, какие новые знания обрела? – я ничего не помню. Как будто выключили свет, а потом очень медленно включили...

Мне все-таки удалось тогда открыть глаза. Моя кровать стояла напротив окна, и первое, что я увидел, — расплывающиеся огни большого города за стеклами. Еще увидел себя распятым: ноги и руки были привязаны к каким-то шинам реанимационной койки; вокруг стояли штанги с разноцветными бутылочками, иглы капельниц были вколоты всюду, куда только можно...

Так я родился во второй раз. Был конец осени, вечер, время дождливое, темное...

Мытарства

Хорошо обмануть прожорливую и трусливую смерть! Приятно снова увидеть этот мир, пока бесцветный, белый, заключенный в четыре стены больничной палаты. В тебе нет сил, чтобы поднять голову, а уж тем более сесть; и молоденькая сестра кормит тебя с ложечки какой-то безвкусной жидкостью. Жизнь!..

Рядом стонет и кричит от боли старик, которому вырезали почти весь желудок. Он судорожно цепляется за край пропасти, но ему не суждено спастись. Через пару часов два крепких санитаров буднично перенесут его, навсегда затихшего, на каталку, накроют белой простыней и увезут вперед ногами.

Прощай, старик, легкого тебе плавания!

Зерно проросло и сбросило с себя ненужную теперь шелуху; мотылек выпорхнул из тесного, закостеневшего кокона. Конечно, жалко расставаться со старой одеждой, к которой так привык, но человек больше одежды, а золото дороже сундука, в котором оно хранится. Человек может потерять все — руки, ноги, способность видеть и двигаться, но если живо его сердце и ясен ум, то он способен творить, любить, жить полноценной жизнью, видеть и понимать мир изнутри. И еще открывается ему, что сила человека не в костях и мышцах, не в богатстве и здоровье, а в том, что хранится в

непроницаемой глубине сердца...

Тогда, лежа на реанимационной кровати, я ни о чем таком не думал. Мне было двенадцать лет, я еще не видел до того, как умирают люди, но смерть своего соседа по реанимации воспринял совершенно спокойно. Как будто что-то еще помнил или уже знал...

* * *

Но я не мог тогда знать в тот час, что это не конец, а только начало моих мытарств и страданий.

Через несколько дней недоучившийся врач-практикант, делая перевязку, занес мне в рану инфекцию. Началось воспаление. Почти месяц температура не опускалась ниже 39-ти. Боли были такие, что, если кто-то проходил мимо и кровать слегка сотрясалась, я орал, как будто режут меня по живому.

Я задыхался от смрада собственного гниющего тела. Перед глазами все время стояла красная и мутная пелена. Не было ни дня, ни ночи; ни света, ни тьмы. Я оказался в каком-то диком закоулке жизни, где все время беспощадно бьют железными батогами, не давая ни капли утешения. Тогда я на собственной шкуре понял, что ад есть.

Я вспоминал слова молитв, которым меня научила бабушка, но Бог не слышал меня, и ангелы отстояли далече...



Я не помню лиц матери и деда Ильи, навестивших меня в то время. Помню только колючую небритость деда на щеке и соленые слезы матери на своих губах.

«Ты был не жилец», – говорила мне позже мама. А еще рассказала, что деду тогда стало плохо, его едва откачали. За год до этого он пережил довольно сильный инсульт, но все равно приехал с Дальнего Востока, когда узнал, что я попал в больницу.

Дед Илья был мамин отец. Он узнал, что у него есть дочь, когда ей было уже лет семнадцать. Он принял ее и очень любил нас, своих внуков. Позже я каждый год ездил к нему на берег Тихого океана, в село, называемое Тадуши. Это место находится по ту сторону Сихотэ-Алинского хребта, поближе к океану, и знаменито тем, что там родился легендарный следопыт Дерсу Узала, прославленный писателем Арсеньевым.

Удары молота

Мне не просто разрезали бедро, отпилили и выбросили сустав.

Мне вынули сердце, очистили его от пристрастия к вещественному, добавили немного новых чувств и ощущений и вернули назад.

Мне изменили мозг, точнее сказать, заставили работать те его области, которые в обычной жизни спокойненько спят, не подозревая о таинственных и темных явлениях в себе самом и в окружающей действительности.

Мне поставили новые глаза, которые прозревают сквозь смутную оболочку внешних событий и видят их суть.

Кажется, с моей души содрали кожу и сказали: поживи-ка, братец, теперь так. Это больно и трудно, но ты должен знать: никто не обещал человеку, что на земле будет легко. В крике и муках рождаешься, в сомнениях и страданиях живешь, в болезни и отчаянии покидаешь этот постылый мир. Счастье – призрак, радость – миг, любовь земная промелькнет, как придорожная станция за окном кричащего поезда; останется только отзвук, который будет болью отзываться в твоей памяти до последнего вздоха.

* * *

Но я не проклиная свою судьбу, а благословляю ее. Я превратился в мягкое железо, которое безропотно подставляет свои бока под удары молота. Я знаю, что это нужно, иначе можно навсегда остаться бесформенным куском металла. Я со смирением предаю себя острому резцу Творца, который отсекает все лишнее, чтобы освободить заключенный в мраке образ.

* * *

Без боли не может быть жизни, и без страданий не бывает человека. Без бедности нет и мудрости, а без жертвы – любви.

Я узнал и почувствовал это слишком рано, и мне стало страшно жить.

Тогда Некто невидимый сказал мне со властью: встань и иди! Ты должен пройти свой путь до конца, чтобы узнать тайну всего, что с тобой произошло в этой жизни. Ты должен по-новому взглянуть на твои горы, тайгу, реку; на бедных людей, живущих среди неземной красоты, но не видящих ее. Ты должен постараться понять и полюбить их, но чтобы это сделать, тебе нужно понять и возненавидеть себя...

И тогда меня взяли и вернули снова на землю.

Ангел-спаситель был без белых крыльев, но в белом халате. Это был не стройный юноша, а толстенький, добродушный доктор по фамилии Шубин. Он весь был круглый: круглая, наголо остриженная голова, круглые глазки под круглыми же очками. Его пальцы были похожи на пухлые сардельки, но именно этими пальцами он исправил ошибки других докторов.

Это было перед самым Новым годом. Я очнулся от наркоза, открыл глаза и увидел маму, сидевшую рядом. Она привезла много рыжих мандаринов и индийский сок манго в жестяной банке. Есть и пить после наркоза мне было нельзя, поэтому она смачивала чайную ложку, обернутую бинтом, и так утоляла мою жажду.

Это была другая палата, другая жизнь.

«Слышь, Толя, – сказал один лежащий сосед другому лежачему. – Мальчишка-то из одиннадцатой, тот, что кричал три недели подряд, – замолчал. Умер, наверное».

И тогда я понял, что он говорил это про меня...

Перевернутый мир

Что можно увидеть на белом больничном потолке? Трещинки, шероховатости, следы от кисти – не более того. Но когда ты семь месяцев смотришь только в этот потолок, не имея возможности сесть или перевернуться на бок, то тебе открывается целый удивительный мир.

Вот белые всадники скачут по снежной долине и сталкиваются в сражении с таким же белым врагом. Вот белые дети идут неторопливо по белому лесу, где живут белые звери и летают прозрачные птицы. Здесь можно увидеть портреты людей, изображения сказочных чудовищ; вообразить дворцы и замки, представить дивные цветы и деревья.

Я целыми днями жил в белом воображаемом мире на потолке, и это спасало меня от жестокой действительности.

Ежедневные перевязки, уколы, пролежни по всей спине, унижительные утки; бедолаги-соседи, у которых раны были еще тяжелее: кому-то отрезало обе ноги, через кого-то переехал трактор, кто-то повредил позвоночник и остался неподвижным на всю жизнь.

Девять человек за это время умерло рядом со мной в нашей четырнадцатой палате. Кто-то в агонии кричал от ужаса, не желая покидать этот мир; кто-то уходил мужественно, молча, с достоинством. Из девяти смертей мне особенно запомнились две.

* * *

Сереже было восемь лет, из них семь он прожил в больнице. В свое время его мать оставила коляску на тротуаре, а сама зашла в магазин. Коляску кто-то задел, она выехала на проезжую часть и попала под колеса грузовика. Сережа был покалечен весь, но остался жив. Врачи кропотливо собирали его по частям: вытягивали косточки, наращивали кожу. Он все переносил весело и легко, потому что не знал иной жизни, кроме жизни больничной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.